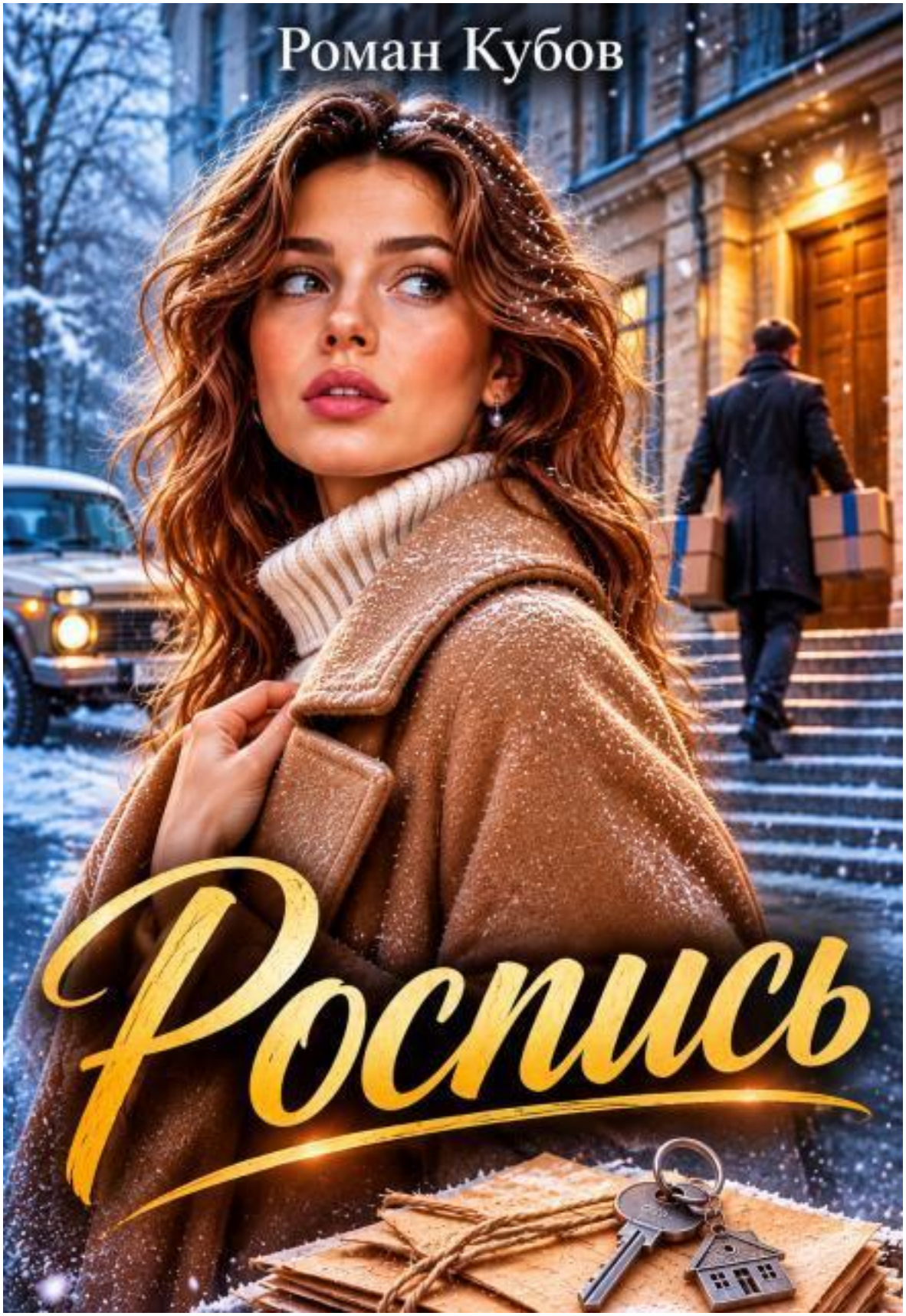

Роман Кубов
Роспись

Роман Кубов

Роспись

«Литнет»
2026

Кубов Р.

Роспись / Р. Кубов — «Литнет», 2026

Аглая Ковалёва двенадцать лет оценивает чужие вещи и умеет считать всё, кроме собственного прошлого. В московской квартире на Ордынке, которую готовят под реставрацию, она описывает тысячу четыреста шестьдесят четыре предмета и находит старую роспись: сорок один из них оценён в сто восемнадцать тысяч рублей, хотя стоит сорок семь миллионов.Под росписью две подписи. Одна принадлежит её директору. Вторая — её отцу. А в описаниях предметов стоит её собственный почерк: в восемнадцать лет она писала их под диктовку, не читая цифр.Теперь ей нужно вернуть вещи их хозяйке, а для этого — договориться с владельцем дома, у которого свои счета, свои сроки и своя причина молчать пятнадцать лет. Двенадцать дней, один портрет и один вопрос: сколько на самом деле стоит вещь и сколько — человек, который её оценивает.

© Кубов Р., 2026
© Литнет, 2026

Содержание

Пролог. Февраль, четыре коробки 5
Глава 1. Сто сорок восемь метров 6
Глава 2. Бюро 10
Глава 3. Её почерк 14
Глава 4. Второй заказчик 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Пролог. Февраль, четыре коробки

В тот день шёл снег, который в Москве называют февральским, будто в декабре он бывает другим. Я сидела в отцовской машине, в «Ниве» цвета сгущённого молока, и дышала в кулак. Печка работала на втором положении, стекло со стороны улицы затянуло, и мне приходилось протирать его рукавом каждые две минуты, чтобы видеть подъезд. Рукав становился мокрым и пах шерстью и бензином.

Мне было восемнадцать, я училась на первом курсе и считала, что уже всё понимаю про взрослую жизнь, потому что сама записалась на курсы латыни и сама нашла себе пальто.

Отец пробыл внутри сорок минут. Я знаю точно, потому что на телефоне была игра с зайцем, и я успела пройти шесть уровней и дважды проиграть на седьмом.

Потом дверь подъезда открылась, и все трое вышли на крыльцо: отец, Роман Ильич Пшеничный в пальто без шапки и хозяин, которого отец называл Аркадием, — высокий, с красивым шарфом, из-под шарфа слышался смех. Они стояли на верхней ступеньке, и снег ложился им на плечи, и никто не стряхивал.

Пшеничный что-то сказал, и Аркадий засмеялся ещё раз, коротко и хорошо, как смеются люди, у которых всё идёт по плану. Потом они пожали друг другу руки, и Аркадий ушёл к своей машине, а отец с Пшеничным вернулись в подъезд.

Я думала, они вынесут вещи. Вещей не было.

Они вынесли четыре коробки. Обычные, из-под бумаги, с синей изолентой через угол. Пшеничный нёс две, отец одну, четвёртую они несли вдвоём. Коробки были не тяжёлые — так мне показалось, потому что мужчины шли быстро и не останавливались передохнуть.

Отец поставил свою на заднее сиденье рядом со мной и сел за руль. Шапку он снял, положил на колени и не надел до самого дома.

— Пап, а что это?

— Бумаги.

— А почему коробки?

— Потому что бумаги.

Он завёл машину и долго не отпускал ключ, хотя мотор уже схватился. Я видела его руки. У отца были руки человека, который двадцать лет держит карандаш и никогда не торопится. В тот день они дрожали, и он спрятал их под шапку, будто в шапке было теплее, чем на руле.

Я не спросила, почему он дрожит. Мне было восемнадцать, и я была уверена, что взрослые дрожат только от холода.

Дома он поставил коробки в коридоре, у шкафа с обувью, и три дня они стояли там, и я через них переступала. На четвёртый день коробок не стало. Мама сказала, что папа отвёз их на работу. Папа не сказал ничего.

Через три недели отец купил мне телефон, о котором я просила с осени, и мама удивилась, потому что денег на телефон у нас не было. Он сказал: премия. Я обрадовалась и целый вечер проверяла, как в нём работает камера.

Больше про ту зиму в нашем доме не говорили ни разу.

Я вспомнила про неё через пятнадцать лет, в другой квартире, с фонариком в руке, и тогда оказалось, что за всё это время я не забыла ни одной минуты, ни одного уровня с зайцем, ни того, как снег ложился на плечи людям, которые не стряхивали его, потому что у них всё шло по плану.

Глава 1. Сто сорок восемь метров

Дом на Ордынке стоял так, будто его поставили здесь до всего остального и остальное потом пристраивали вокруг, стесняясь. Пять этажей, серый камень, лепнина над входом оббита до кирпича, на фасаде мемориальная доска с именем, которое я не знала. Двор был зажат между двумя новыми корпусами, и в нём росли четыре липы, все четыре кривые, и все четыре ещё держали лист, хотя шёл двадцать шестой день октября и с утра падал мокрый снег.

Я поставила машину у мусорных контейнеров, потому что других мест не было, и минуту сидела, глядя на дом, как оценщик, а не как человек. Оценщик видит в доме не дом, а дату, состояние и стоимость квадратного метра. Дом был тысяча девятьсот тринадцатого года, состояние — «требует», квадратный метр в таком месте стоил шестьсот пятьдесят одну тысячу, и это было всё, что я могла сказать, пока не вошла внутрь.

Дверь открыла женщина лет семидесяти в жилетке поверх халата. Волосы у неё были собраны высоко и держались на одной шпильке.

— Вы Ковалёва? — спросила она. — Я Софья Марковна, я тут за старшую тридцать два года. Лифт до четвёртого не идёт, не пугайтесь, он вообще до пятого не идёт, а до четвёртого и не ходил никогда. Ключи в жестянке, не потеряйте, жестянка от чая, я в неё ещё в семьдесят девятом пуговицы складывала.

Она говорила так, как говорят люди, которым давно не с кем поговорить и которые от этого не растеряли, а наоборот, отточили речь.

Я взяла жестянку. Внутри лежали два ключа на кольце с брелоком в виде рыбки, и рыбка была стёрта до латуни.

— Седьмая на четвёртом, — сказала Софья Марковна. — Прямо по лестнице и налево. Там холодно, отопление отключили в августе, когда дом встал на реконструкцию. Марта Ильинична приедет к одиннадцати, она просила вас не начинать без неё, но вы начните, а то она до вечера будет здороваться.

Квартира семь занимала весь четвёртый этаж по фасаду: сто сорок восемь метров, семь окон во двор, две комнаты смежные, третья угловая, кухня с эркером, коридор длиной в половину моей ипотеки и кладовая, дверь которой была заклеена синей изолентой крест-накрест.

Пахло в ней старым деревом, лавандой и холодом. Холод был главный. В такой квартире вещи не портятся, они засыпают.

Я надела перчатки, включила налобный фонарь, потому что электричества в доме не было, и начала, как всегда, с середины: сначала расстояние, потом вещи. Оценщик должен сначала посмотреть на комнату как на склад и только потом как на память. Я вынула рулетку, измерила комнату по стенам, записала в блокнот на левой странице, а на правой — что вижу: стеллаж во всю стену, двенадцать секций; диван под чехлом; стол письменный, дуб, массив, три ящика; на столе лампа с зелёным абажуром; у окна мольберт, пустой.

Работа оценщика состоит из трёх вопросов. Что это. Чей это. Сколько это стоит. Причём первые два стоят дороже третьего, потому что цена — это арифметика, а вещь — это биография. Я могу за минуту сказать, сколько стоит сервиз. Чтобы сказать, почему сервиз стоит столько, мне нужен день и чья-то переписка.

В одиннадцать пришла Марта Ильинична.

Она вошла без стука, в пальто, которое было старше меня, и с сумкой, из которой торчала папка. Ростом она была мне по плечо, и в этой квартире сразу стало теснее.

— Так, — сказала она, оглядев меня от фонаря до перчаток. — Фонарь. Хорошо. Лев Самойлович тоже всегда с фонарём, когда смотрел бумагу, говорил, что электричество врёт.

— Марта Ильинична, я Аглая Ковалёва, бюро «Верста». Мы с вами вчера говорили по телефону.

— Я помню, кто со мной говорил. Забываю только тех, кто мне не нужен. Моего Льва тут знали все, а помнит одна Софья Марковна. — Она поставила сумку на стол и вынула папку. — Вот. Роспись. Мне её дали в две тысячи одиннадцатом году, и я её пятнадцать лет не открывала, а в августе открыла и с тех пор не сплю.

Папка была картонная, с завязками, которые кто-то обрезал.

— И что вы там нашли?

— Я нашла, что моего мужа оценили в три миллиона девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят рублей. Всё. Всё, что он собирал с пятьдесят восьмого года.

Она сказала это ровно, без нажима, и от ровности мне стало не по себе.

— А сколько, по-вашему, это стоит?

— Я не оценщик. — Она посмотрела на меня. — Я библиотекарь на пенсии. Но я знаю, что за портрет, который висит в угловой, в шестьдесят первом году предлагали две тысячи рублей. Тогда две тысячи рублей были машиной. Мне двадцать четыре, у нас ребёнок, я говорю: Лев, продай. Он говорит: это не продаётся, это Кузьмин. И мы не продали. — Она помолчала. — А в этой вашей росписи он идёт за восемь тысяч. В нынешних. В тех, которые после денежной реформы.

Я взяла папку. Внутри лежали сорок два скреплённых листа, копия, снятая на ксероксе, с полями и штампом в углу: бюро «Верста», дата, подпись.

Оценщик читает роспись не сверху вниз, а по итогам. Сначала последний лист, где сумма, потом первые три, где метод, потом середину, где самое дорогое.

Итог был три миллиона девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят рублей.

Метод был описан на первой странице в четыре строки: «вещи осмотрены, описаны и оценены по состоянию на четырнадцатое февраля две тысячи одиннадцатого года; оценка произведена для раздела имущества между близкими умершего; цены определены по низу рыночного коридора с учётом срочности».

Срочность. Вот это слово я ненавижу в отчётах больше всех остальных. Срочность — это когда тебе надо продать за три недели, и ты вынужден согласиться на то, что дают. Срочность — это не оценка, это объяснение, почему оценка плохая.

В середине, на листе одиннадцатом, стояла строка четыреста одиннадцать: «Портрет женский, масло, холст, рама деревянная, повреждения по краю, неизвестный художник, начало двадцатого века — 8 000».

Я подняла голову и посмотрела в угол комнаты.

Портрет висел там, где его повесили очень давно, потому что обои вокруг выцвели по его форме, и гвоздь был забит в стену, а не в подвес, и гвоздь был квадратный, кованый, а такие гвозди в московских квартирах кончились вместе с самими квартирами.

Женщина на портрете сидела в кресле, чуть повернув голову, и смотрела не на художника, а мимо, в ту точку, где обычно стоит окно. На ней было тёмное платье и брошь с гранатом, и гранат был написан с той подробностью, которую художники позволяют себе только в одном случае: когда пишут то, что им дорого.

Я включила фонарь и подошла.

Холст был старый, с кракелюром, ровным, как паутина, а не как трещины; кракелюр такой ровности получается не от старости, а от времени, которое шло медленно и в одной комнате. Подпись была в правом нижнем углу, тонкая, монограмма, и я знала эту монограмму, потому что последние четыре года читала каталоги.

— Марта Ильинична, — сказала я. — Этот портрет не «неизвестный художник».

Она стояла у стола и не подходила.

— Я знаю, — сказала она. — Это Аристарх Кузьмин. Шестнадцатый год. Лев его купил у вдовы в шестьдесят первом и всю жизнь говорил, что это мой портрет, чтобы я не сердилась, что деньги ушли не на машину.

— А он не ваш?

— Он не мой, — сказала Марта. — На мне никогда не было такой броши. Но пятнадцать лет назад спросили не меня.

Софья Марковна принесла нам чай в двух чашках, разных, и сказала, что в этом доме портрет знают все, кто тут жил подольше, и что когда его выносили в восемьдесят девятом на реставрацию, его нёс сам Лев Самойлович и никому не дал.

Дальше я работала шесть часов и почти не разговаривала.

Библиотека: триста сорок томов, из них двадцать семь с автографами, потому что Гурьев дружил с теми, кого иллюстрировал, и они писали ему на форзацах. Рисунки: тысяча двести восемнадцать листов в папках по годам, папки обвязаны тесьмой, на каждой бирка, и бирки подписаны одной рукой, ровной и мелкой. Сервиз: восемьдесят четыре предмета, завод Гарднера, кобальт, два блюда с трещиной. Иконы: три, в окладе. Архив: двести четырнадцать писем в трёх картонных коробках, печатка в мешочке, две акварели между газетами.

К шести часам я поняла, что на моих руках лежит не квартира, а музей, и что в этом музее каждый предмет имеет свою цену и почти каждый — свою историю, и что цена и история у них расходятся в триста раз.

Я села на подоконник, свесила ноги и позвонила Даше.

— Ты где? — спросила она вместо «здравствуй».

— На Ордынке. В квартире, где всё стоит с одиннадцатого года.

— Хорошо тебе. А я тут клею лист, который до меня клеили три раза и все три раза неправильно.

— Даша, тут портрет Кузьмина.

В трубке стало тихо.

— Аристарха Кузьмина?

— Аристарха Кузьмина.

— Их всего известно восемь, — сказала Даша. — Я видела два. Ты уверена?

— Я уверена в монограмме и в кракелюре. Дальше нужен ты и ультрафиолет.

— У меня ультрафиолет есть, а времени нет.

— Времени нет ни у кого, — сказала я.

За окном снова пошёл снег, и стало совсем темно, и я включила фонарь, чтобы дописать страницу. И на листе, где кончались описания, на сорок втором, внизу, я увидела то, что должна была увидеть утром.

Там стояли две подписи. Одну я не знала: Пшеничный Р. И. Вторую знала так, как знают свою.

«К. А. Ковалёв», — стояло там. «Оценщик».

Кирилл Андреевич Ковалёв. Мой отец.

Я просидела на подоконнике ещё, наверное, минут десять, и за это время снег успел закрыть весь двор, и липы стали белые, и мусорные контейнеры стали белые, и моя машина стала белая и перестала быть моей машиной.

Потом я сделала то, что делает оценщик, когда в документе что-то не так. Я не стала думать о том, что это значит. Я взяла рулетку и померила.

Портрет был шестьдесят восемь на пятьдесят два. По росписи он значился как «повреждения по краю». Я обошла его слева и справа, посветила по касательной, нашла на левом поле царапину длиной три сантиметра и не нашла ничего больше.

За «повреждения по краю» в две тысячи одиннадцатом году снимали десять процентов, от силы пятнадцать. Восемь тысяч за Кузьмина — это не скидка за царапину. Это другая рука, которая держала карандаш и ставила цифру.

Я закрыла папку, завязала тесьму, которую кто-то обрезал, и поняла, что двенадцать дней, которые мне дали на работу, только что перестали быть про работу.

— Ну что, — сказала Марта Ильинична из темноты коридора, — дочитали?

Она стояла в дверях без пальто, и я не слышала, как она подошла.

— Дочитала.

— И как вам мой муж?

Я подумала, что можно сказать правду в трёх словах, и что эти три слова изменят всё.

— Ваш муж тут не самый дорогой предмет, — сказала я. — И не самый дешёвый.

Глава 2. Бюро

В бюро «Верста» пахло кофе и старой бумагой, и эти два запаха спорили между собой с тех пор, как я там работала.

Оно занимало три комнаты в Калашном переулке, на втором этаже, над магазином, где продавали деревянные ложки и льняные полотенца для туристов. В первой комнате сидела Ксения Прудникова с наушниками, во второй стояли столы, шкафы и сканер, в третьей был кабинет Романа Ильича с кожаным диваном, на который за восемь лет не сел никто, кроме самого Романа Ильича.

Роману Ильичу Пшеничному в августе исполнился шестьдесят один, он этого не скрывал и ждал, что это запомнят все. Он был высокий, сухой, с бородкой, которую стриг раз в две недели, и с привычкой наливать чай не себе, а гостю, и не спрашивать, какой.

— Аглая Кирилловна, — сказал он, когда я вошла, — вы сегодня к девяти, а сейчас восемь сорок семь. Что-то случилось?

— Ничего не случилось. Я с Ордынки, там был фонарь и холод, я не спала.

— Присядьте, голубушка. — Он показал на стул. — Рассказывайте. Только медленно, у меня с утра сердце.

Я рассказала медленно.

Про квартиру: сто сорок восемь метров, отопление отключено с августа, электричества нет, вещи в целости. Про библиотеку: триста сорок томов, двадцать семь автографов. Про рисунки: тысяча двести восемнадцать листов. Про портрет: монограмма Аристарха Кузьмина, тысяча девятьсот шестнадцатый год, шестьдесят восемь на пятьдесят два, кракелюр ровный, рама родная.

Пшеничный слушал, глядя в стол, и не перебивал.

— И сколько вы за него даёте? — спросил он, когда я кончила.

— Двадцать один миллион. При условии, что Даша подтвердит подлинность и мы найдём происхождение. Если найдём, что он с выставки или из собрания, будет больше.

— Двадцать один, — сказал Пшеничный. — А в росписи?

— В росписи восемь тысяч.

Он поднял голову.

— В какой росписи?

— В той, которую Марта Ильинична мне отдала. Роспись вещей Льва Самойловича Гурьева. Четырнадцатое февраля две тысячи одиннадцатого. Сорок два листа. Три миллиона девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят рублей на всё.

Пшеничный положил обе руки на стол и стал смотреть на них, как будто впервые видел.

— Аглая Кирилловна, — сказал он наконец тем ласковым голосом, от которого у меня всегда стыла спина, — а вы не устали? Вы с семи утра в холодной квартире, у вас фонарь на голове, вы перепутали два документа.

— Я не перепутала.

— На обороте росписи стоит печать нашей фирмы и две подписи. Одна моя.

— Я видела. Вторая — моего отца.

Он встал, подошёл к окну, постоял, потом вернулся и сел. Всё это он делал спокойно, и в этом спокойствии было больше, чем в крике.

— Хорошо, — сказал он. — Я вам скажу так, как есть, чтобы вы не тратили ни моё, ни своё время. В две тысячи одиннадцатом Гурьев умер в феврале, и его вещи делили вдовой, племянницей и ещё двумя родственниками, которых я не вспомню, если разбужу себя ночью. Раздел шёл срочно, потому что квартира уходила покупателю вместе с содержимым,

а покупателю нужен был документ, а не музей. Всё описали, всё оценили по низу, как всегда оценивают, когда делят между родными, чтобы никого не обидеть налогом и чтобы никто не стал торговаться. Я подписал. Кирилл Андреевич подписал. Работы там было на две недели, и мы её сделали честно. — Он посмотрел на меня. — А то, что вы сейчас видите Кузьмина, — это ваша вчерашняя страсть, а не оценка. Вы четвёртый год читаете каталоги и хотите найти своего Кузьмина в московской квартире. Все хотят.

— Роман Ильич, в росписи написано «неизвестный художник».

— В росписи написано много чего.

— В росписи написано «повреждения по краю» и цена восемь тысяч. Я посмотрела царапину. Она в три сантиметра, на левом поле, по ней скидка пятнадцать процентов. Восемь тысяч — это не пятнадцать процентов от двадцати одного миллиона. Восемь тысяч — это когда вещь не смотрели.

Пшеничный улыбнулся.

— Аглая Кирилловна, вы в каком году родились?

— В девяносто третьем.

— Вот именно. — Он откинулся на спинку. — В две тысячи одиннадцатом вам было восемнадцать, вы учились и ходили с отцом на работу, чтобы он не брал вас на улицу одну. Он мне рассказывал. Вы у него сидели в углу и писали. — Он помолчал ровно столько, сколько нужно было, чтобы я вспомнила «Ниву» и коробки. — Поэтому давайте договоримся: вы делаете то, за что вам платят, а прошлое оставим прошлому. У нас с вами через полтора месяца сделка по самой фирме. Я продаю. Восемьдесят четыре миллиона, и это, между нами, моя пенсия и ваши рабочие места. Если из-за портрета в конторе начнут ходить люди с вопросами, сделка станет дешевле, а то и вовсе не станет.

— Кто покупает?

— Хорошие люди, которые не любят вопросов, — сказал Пшеничный. — Всё, идите. И принесите мне договор с Гурьевой, я его подпишу, но сумму обговорим.

Договор я положила ему на стол в час дня.

Марта Ильинична приехала в бюро сама, в том же пальто, с той же сумкой, и в первый же момент сказала Ксении, что у неё в приёмной сквозняк, а у девочки тонкая шея.

— Триста восемьдесят тысяч, — сказал Пшеничный, прочитав. — Марта Ильинична, это оценка трёхсот предметов, а не тысячи четырёхсот.

— У меня тысяча четыреста шестьдесят четыре, — сказала Марта. — Я их пересчитала по вашей же росписи. Двадцать два раза по шестьдесят шесть и ещё сорок четыре.

— Аванс сто двадцать, срок — двенадцатое ноября, — сказал он. — И неустойка полпроцента в день. Вы понимаете, что за такие деньги я вам даю лучшего оценщика фирмы?

— Я и пришла к лучшему оценщику, — сказала Марта. — Деньги я взяла из того, что отложено внучке на квартиру. Внучка подождёт. Муж не подождёт.

Пшеничный подписал.

Он подписал быстро, не читая второй страницы, и я подумала, что человек, который подписывает быстро, уже знает, чем это кончится.

Дербенёв пришёл в четыре.

Я услышала его раньше, чем увидела: он поднимался по лестнице шагами, которые слышно, и говорил по телефону так коротко, что собеседник, наверное, успевал только кивать.

— Нам нужен вход через двор, и нам нужен ответ по воде до пятницы. Да. До пятницы. Нет, не через неделю.

Он вошёл в комнату и стал в ней самым большим предметом. Ростом он был немного выше среднего, но занимал больше места, чем полагается по росту: плечи, руки, привычка стоять так, чтобы видеть всех.

— Дербенёв, — сказал он. — Тимур. Я владелец дома на Ордынке. Кислицын мой финдиректор, если он вам позвонит, а он позвонит, это не от меня. Мне сказали, тут сидит оценщик, который вчера шесть часов просидел в моей квартире без света.

— Сидит, — сказала я.

Он посмотрел на меня внимательно, без всякого интереса, как смотрят на смету.

— Сколько вам нужно времени?

— Двенадцать дней, — сказала я. — Договор подписан, срок двенадцатое ноября.

— До двенадцатого квартира должна быть описана и освобождена. К двадцатому мне нужен акт, к двадцать седьмому — сделка с фондом. — Он вынул телефон, посмотрел в него и убрал. — Восемьдесят четыре процента дома уже готовы. В квартире семь с сорок первого года ничего не менялось. Там лепнина под четырьмя слоями краски, там паркет, который надо снимать и клеить заново, там печь, которую я не могу тронуть, пока в комнате стоят чужие вещи. Двенадцать дней — это очень много.

— Двенадцать дней — это тысяча четыреста шестьдесят четыре предмета, — сказала я. — По сто двадцать в день, если не спать.

— Я не прошу вас не спать. Я прошу вас не устраивать мне тут музей.

— Это не я устраиваю. Это вещи.

Он чуть склонил голову набок.

— Хорошо. Сколько стоит ваша работа?

— Триста восемьдесят тысяч.

— Я дам вам семьсот шестьдесят, — сказал он. — Вы сдаёте мне заключение двадцатого числа, в котором сорок один предмет, включая портрет и архив, оценены так, как они оценены в росписи, с уточнением состояния. Я не прошу вас врать. Я прошу вас не выходить за рамки того документа, который уже подписан и по которому квартира куплена.

В комнате стало тихо. Ксения перестала печатать. Пшеничный, который стоял в дверях своего кабинета, не сказал ни слова, и это было хуже всего: он молчал так, будто уже согласился.

— Вы понимаете, что предлагаете? — спросила я.

— Я предлагаю вам двойной гонорар за то же самое заключение с другой формулировкой. Это рынок, а не подлость. Подлость — это когда вы в своём отчёте пишете цифру, из-за которой у меня встанет стройка, остановится кредит и сто восемьдесят человек останутся без работы в декабре.

— Триста сорок миллионов под двадцать один процент, — сказала я. — Неустойка триста сорок тысяч в день.

Он впервые посмотрел на меня по-другому.

— Откуда вы знаете?

— У вас на столе лежал график платежей, когда вы входили. Я прочитала, пока вы говорили по телефону. У оценщика профессиональное: он читает то, что лежит открытым.

Дербенёв засмеялся. Коротко, один раз, невесело.

— И что вы мне предлагаете?

— Я предлагаю вам двадцать первое ноября, — сказала я. — И заключение, в котором написана правда и стоит нормальная цена. Потому что если вы получите от меня бумагу с восемью тысячами за Кузьмина, то через месяц её покажет вам кто-нибудь другой, и тогда у вас встанет не стройка, а всё.

Он долго молчал.

— Двадцать первое, — сказал он. — И без сюрпризов.

— Сюрпризы не от меня.

Он уже повернулся уходить. На столе у Ксении лежала папка. Та самая, картонная, с обрезанными завязками, потому что я привезла её, чтобы снять копию.

Дербенёв взял её, не спросив. Я не успела ничего сказать, а он уже раскрыл последний лист.

— Четырнадцатое февраля, — сказал он медленно. — Две тысячи одиннадцатый.

— Да.

Он смотрел на подписи.

— Ковалёв, — сказал он. — Это ваш?

— Это мой отец.

Он закрыл папку и положил её точно так, как взял, ровно по краю стола.

— Понятно, — сказал он, и в этом «понятно» было столько, что я потом полночи раскладывала его на части.

И вышел. Шаги его были слышны до первого этажа.

Глава 3. Её почерк

Двадцать восьмого октября я приехала на Ордынку в семь утра, с двумя лампами, удлинителем и генератором, который взяла у Даши. Генератор был тяжёлый, я тащила его по лестнице и на третьем этаже поставила на площадку и сказала вслух несколько слов, которые в бюро не записывают в отчёты.

Электричества в доме не было, но лестница была живая: где-то наверху стучали, из пятой квартиры пахло жареным луком, на подоконнике между вторым и третьим этажом стояла банка из-под кофе, полная окурков и снега.

Марта Ильинична пришла к девяти и принесла термос.

— Я не знала, будет ли у вас обед, — сказала она. — В моё время на работе кормили.

— В моё время работают в перчатках и едят потом.

— И как, вкусно?

Я засмеялась впервые за три дня. Она налила мне чай в крышку от термоса и села на стул у окна, и дальше мы работали молча, потому что в такой работе главное — не разговаривать, а если разговаривать, то о вещах.

К полудню я закончила библиотеку.

Триста сорок томов. Я описывала их так, как описывают людей на приёме: сначала по внешности, потом по документам. Обложка, сохранность, форзац, пометки. Двадцать семь автографов я сфотографировала отдельно, каждый с линейкой, и на двадцать девятом томе нашла то, ради чего вообще стоит ходить в такие квартиры: на форзаце «Трёх сестёр» было написано «Льву, который рисует лучше, чем я пишу» и подпись драматурга, умершего в шестидесятых.

— Марта Ильинична, — сказала я. — Ваш муж дружил с теми, кого иллюстрировал?

— Он всех их пережил, — сказала она. — Он вообще всех пережил, кроме себя.

К четырём часам я дошла до архива.

Двести четырнадцать писем лежали в трёх коробках, и в каждой коробке письма были уложены по годам, и на каждой пачке лежала записка, и записки были подписаны одной рукой, мелко и ровно. Я читала не всё. Оценщик не читает личную переписку целиком, он смотрит состав, даты и сохранность. Но одно письмо я прочитала от начала до конца, потому что оно лежало сверху и было датировано мартом шестьдесят первого года.

Кузьмин писал Гурьеву: «Ты спрашиваешь, отдавать ли её тебе. Отдавай, если сможешь смотреть на неё каждый день и не сходить с ума. Я писал её четыре месяца, и я до сих пор не знаю, похожа ли она. Жена говорит, что не похожа, но жена всегда так говорит».

Я перечитала это дважды и положила письмо на место.

В шесть пришла Софья Марковна с новостью, что на пятом этаже прорвало трубу и что она вызвала человека из фирмы, и что человек этот уже поднимается.

Человек поднимался шагами, которые я теперь узнавала.

— Здравствуйте, — сказал Дербенёв с порога. — Я по трубе. И ещё я хотел посмотреть, как вы работаете.

— Труба на пятом.

— Труба на пятом. Я посмотрел. — Он вошёл в комнату, огляделся и снял пальто, будто собирался остаться. — Вы где сидите?

— Я нигде не сижу. Я хожу.

— Понятно. — Он сел на подоконник, на то место, где я просидела вчера, и стал смотреть.

Я не люблю, когда смотрят. Я работаю с вещами, которые от внимания не меняются, а люди меняются, и под чужим вниманием я начинаю работать быстрее и хуже.

— Вы мне мешаете, — сказала я через десять минут.

— Я молчу.

— Вы молчите громко.

Он усмехнулся и не ушёл.

В половине восьмого я дошла до последнего листа и стала читать его как следует.

Роспись была устроена просто: номер, наименование, описание, состояние, цена. Описания были написаны двумя почерками. Первый — крупный, с сильным нажимом, буквы круглые, «д» с длинным хвостом. Второй — мелкий, ровный, с наклоном влево, и в нём буква «ж» была написана с хвостом вниз, будто у неё выросла ножка.

Я знаю, как выглядит эта «ж». Я так писала в восемнадцать лет, а в двадцать три переучилась, потому что на первом месте работы мне сказали, что в отчётах нужен «взрослый» почерк.

Я отложила лист, встала, прошла по комнате, вернулась и села.

— Что-то не так? — спросил Дербенёв.

— Всё так, — сказала я. — Мне нужно позвонить.

Я вышла на лестницу, на площадку между четвёртым и пятым, где банка из-под кофе стояла на подоконнике, и позвонила матери.

— Мам, привет. Скажи, а папа в две тысячи одиннадцатом брал меня с собой на работу?

— Брал, — сказала мама. — Ты всё лето и всю зиму к нему ходила, потому что институт был во вторую смену, а дома нечего было есть.

— А что я там делала?

— Писала. Он тебе диктовал, а ты писала. Ему нельзя было много писать, у него к сорока восьми уже рука болела. — Она помолчала. — А что?

— Просто спрашиваю.

— Аглая.

— Мам, я на работе. Я позвоню вечером.

— Аглая, — сказала мама другим голосом. — Ты только не лезь туда, куда он не хотел.

Я вернулась в квартиру и села перед росписью.

Сорок один предмет из тысячи четырёхсот шестидесяти четырёх. Двадцать восемь описаний второго почерка. И вот что я увидела, когда стала их читать подряд, а не по одному.

Почерк был мой, но слова были не мои.

В восемнадцать лет я не знала слова «кракелюр». Я не писала «утраты по красочному слою до основы, тонировки поздние». Я не знала, что такое «тонировки поздние», я вообще не представляла, как это можно увидеть. Но в росписи эти слова стояли, написанные моей рукой, хвостатой «ж», и стояли ровно там, где надо было обосновать низкую цену.

Кто-то диктовал мне не только названия. Кто-то диктовал мне состояние.

На листе одиннадцатом, напротив портрета, было написано: «Повреждения по краю, утраты незначительные, живперечень без вмешательства, рама родная, авторство не подтверждено». Авторство не подтверждено. Мне было восемнадцать, и я написала это под отцовскую диктовку, и я не спросила, почему не подтверждено, если на портрете стоит монограмма, а монограмму видит любой, кто умеет смотреть.

Тогда я не умела смотреть. Меня учили этому ещё восемь лет.

Я подняла голову. Дербенёв сидел на подоконнике и смотрел на меня, и лицо у него было не такое, как в бюро.

— Вы нашли что-то, — сказал он.

— Я нашла, что я в этом участвовала.

Он не ответил.

— Мне восемнадцать было, — сказала я. — Я писала под диктовку. Я не читала, что подписываю, потому что ничего не подписывала, я писала описания. И теперь я вижу, что описания — это и есть цена.

— Вы хотите, чтобы я вас пожалел?

— Нет. Я хочу, чтобы вы ушли с подоконника.

Он встал.

— Восемьдесят четыре процента дома, — сказал он. — Я не могу их отдать.

— А я не могу сделать вид, что не вижу.

Он ушёл, а я осталась с лампой, генератором и сорок вторым листом, на котором стояли две подписи, и одна была отцовская.

В девять вечера я заперла квартиру и спустилась к Марте Ильиничне, которая ждала меня в машине, потому что не любила сидеть одна в чужом подъезде.

Она сидела на переднем сиденье, положив сумку на колени, и смотрела прямо.

— Ну, — сказала она. — Говорите.

Я думала, как это сказать так, чтобы не сказать лишнего и не соврать.

— Марта Ильинична, — сказала я. — Сорок один предмет из вашей росписи стоит не сто восемнадцать тысяч.

— А сколько?

— Сорок семь миллионов шестьсот сорок тысяч. Это без торга, по нижней границе и без учёта того, что я найду дальше. — Я сделала паузу. — И я знаю это точно, потому что описания к некоторым из этих предметов писала я. Своей рукой. В восемнадцать лет, под диктовку своего отца.

Она долго молчала. В машине было слышно, как работает мотор, как за окном кто-то тащит санки по асфальту и как в бардачке перекатываются рулетки.

— Значит, вы тоже, — сказала она наконец.

— Значит, я тоже.

— Хорошо, — сказала Марта Ильинична и сложила руки на сумке. — Тогда слушайте меня внимательно. Я пятнадцать лет думала, что меня обманули чужие люди. Чужих я ненавидеть умею, это просто. А теперь выясняется, что обманывали свои, и я не знаю, что с этим делать. — Она повернула голову. — Вы мне скажите одно. Вы хотите это исправить или хотите, чтобы я вас пожалела?

— Исправить.

— Тогда не вздумайте из-за меня потерять работу, — сказала она. — Работа вам понадобится, когда вы будете это исправлять.

Глава 4. Второй заказчик

Ян Кислицын приехал в пятницу, тридцатого октября, ровно в то время, когда я складывала сервиз.

Он был в куртке без шарфа, с па

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.